

Быт + ие

Н. В. СУСЛОВА

В статье рассматривается проблема взаимоотношений категорий «быт» и «бытие» в пространстве художественной культуры России как литературоцентричной страны. Автор предлагает экскурс в историю проблемы, а также определяет специфику диалектики «бытового» и «бытийного» в современной литературной ситуации.

Ключевые слова: быт, бытие, «литература факта», литературоцентризм, натурализм, неонатурализм, формульность, non-fiction.

The article examines the problem of mutual relations of categories “a mode of life” and “being” in the art culture of Russia as a literary centralized country. The author offers digression to problem history, and also defines specificity of dialectics of “a mode of life” and “being” in the modern literature.

Keywords: life, being, “literature of fact”, literature centre, naturalism, neonaturalism, formula, non-fiction.

«Россия – литературоцентричная страна». Этот тезис стал, пожалуй, краеугольным камнем для выстраивания различных концепций, подтверждения и опровержения гипотез, касающихся практически всех острых (а разве они бывают другими там, где любой период культурного развития непременно квалифицируется как сложный?) проблем, становящихся объектом осмысления и обсуждения в гуманитарной (а что, в литературоцентричной стране могут быть еще и какие-то другие?) сфере. Правда, в свете нарастания тенденций визуализации культуры формулу литературоцентризма иногда пытаются подкорректировать, заменив основную составляющую на что-нибудь универсально-обтекаемое вроде «искусства» или претендующее на радикализм и современность вроде «медийности», четко осознавая при этом, что ремонт носит исключительно косметический характер.

Конечно, постструктуралистская теория, преломленная в практике постмодернизма, основательно продвинула человечество в области формирования представлений о множественности истины, о стирании всех и всяческих границ, в том числе – и между реальностями самого разного порядка. Но ментальность-то коренного обитателя литературоцентричного пространства куда девать? Пусть себе постмодернисты проводят свои сеансы шизоанализа, пусть ссылаются на Делеза и Гватарри – да хоть и на самого Юнга с его теорией национального архетипа! – пусть кричат на каждом углу о том, что состояние этого самого архетипа достигло в России критического уровня. Аборигены не слышат. Аборигены не понимают языка постмодернизма и овладевать им, в массе своей, определенно не собираются. Зачем им это? Ведь сладкозвучные песни на их родном наречии поет для них вещая птица Сирина, обитающая исключительно в родимом литературоцентричном краю. А если волшебные звуки вдруг оборачиваются вороньим граем или соколиным клекотом – к этому аборигенам не привыкать: вот такая у них реальность – многообразная. И вообще – ключевое слово здесь ни «птица», и даже ни «Сирин», а «вещая».

Литературоцентричное пространство – почти кэрролловская Страна Чудес, все, что попадает сюда, переживает странные и многозначительные метаморфозы и, в результате, оказывается неравным самому себе. Иностранцы, оказывающиеся в Стране Чудес, сначала изумляются, а потом удивительно быстро перенимают ее нравы и обычаи: «Приехать сюда можно, уехать – ни за что и никогда», как говаривал некогда мудрый полковник Либенау Корнелиусу фон Дорну, предку единственного положительного героя в новейшей литературе аборигенов. Во времена храброго Корнелиуса приезжих поражал быт аборигенов, вернее, почти полное отсутствие такового, с их точки зрения. Путешественники более поздних времен уже быта не искали – оказавшись в литературоцентричном пространстве, они чувствовали странный холодок, который обнаруживал почти осязаемое присутствие Бытия, отменяю-

щего, поглощающего то, что принято называть бытом.

Бытовые реалии текста русской литературы имеют странные свойства: даже будучи воспроизведенными в мельчайших подробностях, создающих иллюзию «натуральности» объекта, эти реалии не прочитываются, не воспринимаются как представители бытового – обыденного, повседневного пласта реальности. Бытовые подробности становятся материальными знаками существования Бытия. Баланс, декларирующий существующий паритет между бытом и бытием, который очень точно выражен формулой «жили-были», представляющийся как гарант сохранения основ миропорядка в фольклорном пространстве и отчасти в континууме древней литературы, в собственно литературном пространстве нарушается: стрелка весов решительно смещается в сторону «были». И когда Державин со всей тщательностью незаурядного художника выписывает бытовые вещественные детали званского «жизья», скрупулезно воспроизводя форму, цвет, да что там – придавая им возможность вызывать ощущения вкуса, запаха (чего стоят его «багряна ветчина», «что смоль, янтарь – икра», «румяно-желт пирог»!), то из под его пера выходит картина «бытья». Званка растворяется, и на ее месте возникает вневременное пространство счастливой Аркадии. Когда же Пушкин на своем более чем спорном «пути от романтизма к реализму» вздумает облачить Татьяну в малиновый берет – о, какие бездны скрытого смысла раскроются в связи с этим аксессуаром: он тут же превратится и в символ романтической натуры, и в способ материализации «художественных» качеств внутреннего мира и прочее, прочее, прочее... А если объект окажется покрупнее – шинель, например, - то спроецированный ею образ бытия и вовсе начнет расширяться в геометрической прогрессии и, наконец, станет таким огромным, что преображенная шинель окажется впору даже самым «матерым человечисам» - они ведь все вышли из «Шинели» Гоголя. И что особенно привлекательно, бытийная шинель, в отличие от бытовой, никогда не обветшает и не окажется на свалке: это значит, что всегда остается возможность попросить: «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью!»

Пожалуй, единожды в истории русской классической литературы быт попытался заявить о своих суверенных правах. Это было связано с явлением натурализма, провозгласившего себя подлинным реализмом и, в позитивистском духе, почти маниакально фиксировавшего не только черты, но и малейшие черточки действительности с их дальнейшим рассмотрением сквозь окуляр мощнейшего микроскопа. Но подобная тенденция достаточно быстро оказалась переработана в топке заработавшего уже практически в полную силу литературоцентричного механизма: реализм, прочертивший границу между искусством и действительностью, осуществил невиданную до сих пор (куда там романтизму, громогласно ратовавшему за слияние жизни и искусства!) экспансию литературы в пространство действительности. Натурализм же, обретавшийся в этом пространстве, стал для реализма чем-то вроде аннексии или контрибуции, полученной в результате блестяще проведенной операции. «Переваривание» натурализма вызвало у реалистической литературы побочный эффект в виде всплеска интереса к жанру бытового романа, но этот эффект был кратковременным и преходящим.

Быт попробовал было возродиться уже в новой истории – в так называемой «литературе факта», заявившей о себе в 20-е годы. Но авангардная природа этого явления, восходящего к идеям формальной школы, предопределяет, пожалуй, еще более жесткое неприятие чисто бытового, чем та же реалистическая эстетика, которая допускает бытовое в сферу искусства, правда, требуя от него за это известное вознаграждение, связанное с изменением качества. «Литература факта», противопоставившая «фиктивному» художественному образу «живой кусок» действительности, невольно породила по отношению к бытовому ситуацию остранения. Попытки борьбы с типизацией и символизацией превращали образ мира «литературы факта» в столь непривычную для среднестатистического обитателя литературоцентричного пространства реальность, что даже самые обыденные объекты выглядели в ней как-то странно, почти неузнаваемо. Ну а потом в русскую литературу пришел Великий Миф и быт предпочел забиться в самый темный чулан, откуда его время от времени извлекали, то используя в качестве пугала, то заставляя играть уже отретпетированную им роль представителя бытия.

Современный этап в развитии русской литературы с его тенденцией легализовать и легитимировать все, что возможно и невозможно легализовать и легитимировать, конечно,

попытался дать шанс и быту. Того, чего раньше у нас, как и секса, не было, вдруг оказалось, на первый взгляд, даже слишком много. Утонченные эстеты, которые вчера искали черную кошку символического во всех темных комнатах и, конечно, находили (особенно в тех случаях, когда ее там не было), теперь обратили свои гордые взоры в сферу культуры повседневности. Правда, в результате, от повседневности после этого осталось одно название. Литераторы и прочие деятели искусств в своем благородном стремлении заполнить лакуны вызвали сход лавины. Нет, в данном случае, лавина – это слишком красивое сравнение, скорее – селевого потока. В общем, как говорит Тимур Кибиров, когда «распадаются основы, расползается...» Да, оно самое. Но быту опять не повезло. Когда быт выбрался из чулана и вернулся, он решил провести карательную акцию, отчего приобрел непривычно пугающие черты и inferнальную эпитетику: «кромешный», «чернушечный». Когда же страсти немного улеглись, стало очевидным, что механизмы литературоцентризма, которые, как казалось многим, в конце 80-х – 90-е годы дали явный сбой и начали выделять что-то вовсе непотребное, оказались способными к саморегуляции и самовосстановлению. Все спокойно, господа: быт под контролем. Неонатурализм являет через быт символические, и в этом символизме глубоко гуманистические образы бытия, а сентиментальный натурализм вообще реконструирует древнейший обряд оплакивания и поминания, где, как это водится в архаике, баланс между бытом и бытием поддерживается идеальный. Каким бы жестким не пытался выглядеть быт «жестокого» реализма, это быт, в который погружены романтические герои, в ореоле жизнедеятельности которых быт превращается в нечто экзистенциальное.

С постмодернизма в плане восстановления/установления статуса бытового в искусстве, как говорится, взятки гладки. Конечно, при моделировании своей реальности постмодернизм руководствуется принципом нонселекции, поэтому у бытового есть все шансы стать частью этой реальности. Но что бы там не выкапывали из-под земли пелевинские насекомые – ржавые чайники или современные кондиционеры – в условиях симулятивности – это не просто чайники и кондиционеры: это и быт и бытие, это и не быт и не бытие. Чтобы как-то собрать это воедино – нужно серьезно изучить главный вампирский курс «дискурс'а и гламур'а». Кстати, о гламуре. Глянцевый роман, вызванный к жизни очередной гримасой на этот раз уж точно медиацентризма, на первых порах действительно позволил быту (или, точнее, одному из его вариантов) быть самим собой. Вероятно, именно поэтому некоторые литературные критики называют гляцевый роман этнографическим. Бытовые реалии некоторое время оставались здесь только реалиями быта, потому что до слияния с бытийным смыслом, обретающимся в высших «надпочвенных» сферах, им не позволила подняться осязаемая тяжесть прикрепленных к ним ярлыков с названиями серьезных брендов и этикеток с указанием не менее серьезных цен. Однако гляцевый роман (или даже реализм, как иногда называют связанную с ним тенденцию) очень скоро застенчался этой своей особенностью и прочно ступил на путь самопародирования. Согласитесь, когда вещь начинает пародировать себя самое – это уже не вещь, а квазивещь, собственно бытового в этом не много.

Формульная/массовая литература, предполагающая сохранение формальных связей между означающим и означаемым, быту явно симпатизировала изначально. Вспомнить хотя бы адреса или номера телефонов, которыми массовики-затейники, как специями, приправляют приготовляемые ими блюда. Это кажется почти фантастикой в мире fiction, но отправившийся по указанному адресу простодушный читатель оказывался-таки в любимом баре своего любимого героя, а набрав номер телефона, он – о, чудо! – слышал голос менеджера именно той компании, где отважный сыщик разыскал самого важного свидетеля. Именно на территории русской формулы быт сегодня чувствует себя относительно комфортно. Более того, он подталкивает наиболее популярные у читателя жанры к трансформации, в особенностях которой просматриваются черты так спешно пролистанного русской литературой бытового романа. Обитателям литературоцентричного пространства как-то невдомек, что профессиональные литературоведы уже справили поминки по классическому детективу, обреченному на безвременную или, наоборот, своевременную смерть в реальности эпохи постмодерн. Обитатели литературоцентричного пространства обладают устойчивым инстинктом необходимости обретения истины и веры в возможность ее обретения. Слишком часто они

задавали свои любимые вопросы «что делать?» и «кто виноват?» и литература, как им казалось, а может и не казалось, давала им ответы. И как же может умереть детектив, который, по определению, не может уклониться от ответов на эти вопросы? И как же без него решать проблему восстановления распавшегося мира? Обретения нарушенной гармонии? И где, как ни в его пределах, закон восстановления гармонии может быть сформулирован в столь ласкающей слух формуле: «Вор должен сидеть в тюрьме». В современном русском варианте классического детектива быт сначала исподволь заявлял о себе. Можно подумать, что Настю Каменскую миллионная читательская аудитория полюбила за то, что она такая умная. Ничего подобного, ее полюбили за то, что она не может окончательно проснуться, если не выпьет чашку крепкого кофе, за то, что ей тяжело ходить на каблуках, за то, что у нее болит спина, за то, что ей не хватает денег, чтобы закончить ремонт в квартире. Все это мелочи? Да, мелочи. Но когда госпожа Маринина произвела «смену объекта», что-то практически никто не воспытал столь же нежной любовью к ее новому герою – молодому талантливому обеспеченному красавцу из благородного семейства, который сознательно и честно выполняет тяжелую и неблагодарную работу участкового исключительно из стремления к восстановлению разрушенной гармонии. Столь удачно дебютировавший быт вскоре начал теснить собственно детективную составляющую в романах Марининой. Ее последние книги – это добротные бытовые романы, лишь слегка камуфлирующиеся под детектив. А пресловутый русский иронический детектив, так разительно несхожий со своим английским собратом, и во все поднял знамя, выпавшее из рук глянцевого романа. Теперь даже безумный сюжет, иногда поражающий даже выдавших виды профессионалов степень своего безумия (в таких случаях они с ужасом начинают бормотать что-то о новой версии не то абсурда, не то гротеска), меркнет и бледнеет на фоне вороха может быть кому-то и полезной информации подчеркнута бытовой направленности: как воздействовать на слесаря-сантехника, отказывающегося немедленно починить ваш кран, где купить куртку D&G, если у вас нет денег даже на телогрейку фабрики «Зеленый серп», как приготовить обед на семью из 25 человек из одного плавленого сырка. Но над новым (хотя, какой он новый) бытовым романом, проклюнувшимся из яйца классического детектива, и над ироническим детективом с его всепоглощающими бытовизмами витает дух бытийности, который очень чутко реагирует на все те же «что делать?» и «кто виноват?», явственно проступающими сквозь неприятительные письма русских агат кристи и стивенов фраев.

В свете рассматриваемой проблемы было бы странным, если я обошла бы вниманием такой мощный пласт современного искусства, как non-fiction. Здесь с бытом, по идее, должно быть все в порядке. Ограничусь на этот счет только одним замечанием. Англоязычный термин, попав в литературоцентричную среду, породил адекватную сути этой среды кальку – литература non-fiction/нон-фикшн. По-моему, этим все сказано. Быта в русской литературе нон-фикшн много, но бытия несоизмеримо больше. Остался ли сегодня в пространстве культуры хотя бы крошечный клочок, где быт может позволить себе оставаться бытом? Мне кажется, это исключительно зона так называемого «наивного письма», которая сужается с каждым днем, а завтра, вероятно, может вообще исчезнуть. А еще иногда вроде мелькнет это наивно-бытовое, без всякого привкуса бытийности, в сочинениях начинающих девочек-фанфикеров, когда они одевают своего любимого Гарри Поттера в самый замечательный костюм, в котором он выглядит писанным красавцем, или делают Гермione такую прическу, какую не сможет сделать им самим даже ведущий стилист из самого пафосного салона деревни Нью-Васюки. Но это уже из области мечты. И это уже не быт.